

Голос пойманной птицы

Автор:

[Джазмин Дарзник](#)

Голос пойманной птицы

Джазмин Дарзник

Novel. Женское лицоМИФ Проза

Правду мы говорили шепотом – или молчали вовсе...

Она была бунтаркой. Женщиной, которую услышали. Поспешно выданная замуж, Форуг бежит от мужа, чтобы реализовать себя как поэт, – и вот ее дерзкий голос уже звучит по всей стране. Одни считают ее творчество достоянием, другие – позором. Но как бы ни складывалась судьба, Форуг продолжает бороться с предрассудками патриархального общества, защищает свою независимость, право мечтать, писать и страстно любить.

Для кого эта книга

Для читателей Халеда Хоссейни, Чимаманды Нгози Адичи, Мэри Линн Брахт, Эки Курниавана, Кейт Куинн и Амитава Гоша.

Для тех, кто интересуется Востоком, его традициями и искусством.

Для поклонников историй о сильных героинях и их судьбах.

На русском языке публикуется впервые.

Джазмин Дарзник

Голос пойманной птицы

Jasmin Darznik

Song of a Captive Bird

Перевод стихотворений с фарси Юлтан Садыковой

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© 2018 by Jasmin Darznik

Reading group guide copyright © 2019 by Random House LLC. All rights reserved.

This translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023

* * *

Киану и Шону

Помни ее полет, ибо птица не вечна.

Форуг Фаррохзад (1935–1967), иранская поэтесса

По мотивам жизни и творчества Форуг Фаррохзад

Часть первая. Мне жалко сад

1

Есть переулок, в котором мальчишки,
влюбленные в меня когда-то,
все с теми же волосами спутанными,
шеей тонкой, тощими ногами,
до сих пор думают
о невинных улыбках девчонки,
которую ночью однажды
унес с собой ветер.

«Новое рождение»

В тот день закончилось мое детство; правда, тогда я об этом еще не догадывалась. Если бы я знала, что случится там, вошла бы за мать в ту комнатку в квартале, который называли «Дном города»? Если бы я понимала, зачем мы туда едем, не сбежала бы я, прежде чем мать постучала медным молотком в дверь? Едва ли. Мне тогда было шестнадцать, меня считали своенравной, но в те мгновения, когда мы с сестрой стояли под синим зимним небом Тегерана, я понятия не имела, что со мной станет, а бунтовать боялась.

Тем утром мы с матерью и сестрой, вопреки обыкновению, вышли из дома в чадрах. Уже это одно должно было бы меня насторожить. Мы с сестрой никогда не носили чадру, а мать надевала ее только дома, перед намазом. У нее была легкая хлопковая чадра, белая, с бутонами роз: в ней она молилась. Нам же с Пуран она в тот день выдала совсем другие покровы – черные, тяжелые, в каких ходили разве что старухи.

– Одевайтесь, – велела она.

Я решила, что мы едем в храм замаливать мои грехи: другого объяснения маминому требованию у меня не нашлось. Я надела чадру и встала перед зеркалом. Оттуда на меня смотрела худая, бледная девушка с тяжелой челкой, которая выбивалась из-под чадры.

Пуран тоже накинула покрывало. Чадра прятала ее тело, виднелось только лицо, и сестра казалась совсем крохотной. Под глазами ее чернели полумесяцы бессонницы, под левым наливался синяк.

«Значит, ей тоже досталось», – подумала я.

– Не свалитесь в джуб[1 - Канава (фарси). Здесь и далее, если не указано иное, примечания переводчика.]! – крикнула мать.

Мы с сестрой перепрыгивали покрытые льдом канавки посреди улицы. В нескольких кварталах от дома нам навстречу попался первый из многочисленных городских лоточников и уличных торговцев. Два его осла были навьючены мешками с гранатами, дынями, баклажанами, всевозможной глиняной посудой и кухонной утварью: казалось, спины их прогнулись под тяжестью поклажи. Неподалеку от улицы Пехлеви[2 - Она же Вали-Аср – самая длинная (восемнадцать километров) улица в Тегеране, пересекающая город с севера на юг.] мать махнула вознице, и к нам подкатили дрожки, небольшой крытый экипаж с черным верхом.

Втроем на заднем сиденье было тесно. Мать прикрыла чадрой лицо, подалась к вознице и что-то прошептала. Он недоуменно взглянул на нее.

– Вам действительно нужно именно туда? – уточнил он. – Прошу прощения, но там не место для таких ханум[З - Дама (фарси).], как вы.

Мать что-то ответила, но слов было не разобрать. Возница одной рукой поправил галстук, другой взял кнут, хлестнул лошадь – и дрожки тронулись с места.

– Куда мы едем? – шепотом спросила я сестру и раз-другой легонько ткнула ее локтем в бок. Но она даже не взглянула на меня, откинулась на спинку сиденья и понурилась голову.

Был одиннадцатый час утра, и улицы кишели народом; хозяйки шли за провизией на базар. Из переулка за углом змеилась очередь в булочную. Торговцы несли на голове подносы с лепешками, пробежал мальчишка с двумя огромными глиняными кувшинами. Мы ехали молча; дрожки свернули с оживленной улицы в какой-то проулок. Колеса повозки скрипели и тархтели; окрестности были мне незнакомы. Километра через полтора мы наконец миновали вокзал. Каменная мостовая сменилась землей, и копыта нашей лошади уже не цокали звонко, а гулко стучали по утрамбованной земле: я догадалась, что мы в южной – беднейшей – части Тегерана.

Улицы здесь были запущенные, и чем дальше, тем неопрятнее казались мечети, дома, лавки. Целые семейства жались к кострам из кизяка, тянулись к огню, потирали руки, пытались согреться. У входа в мечети просили подаяние женщины с младенцами, примотанными платком к груди; тут же, возле материнских юбок, резвились дети постарше. У стен домов сидели мужчины; по улице сновали босоногие подростки.

Нищие, лужи, мусор, бродячие собаки – я не отрываясь смотрела по сторонам. Никто из моих знакомых никогда не бывал здесь. Мне хотелось увидеть все. Мне хотелось понять.

– Нечего глаза пялить! – одернула меня мать и велела сесть ровно.

На перекрестке дрожки резко остановились: какой-то мужчина переводил через дорогу двух ослов. У всех здешних домишек были глинобитные стены и покатые жестяные крыши, дороги были изрыты ухабами. Этот район назывался «Дном города», но узнала я об этом гораздо позже.

- Вам точно сюда? - еще раз спросил возница, когда дрожки остановились.

Мать нервно кивнула и молча протянула ему деньги.

Я вылезла из повозки, и в нос мне ударила вонь - причудливая смесь грязи, дыма и кизяка. От страха меня вдруг пробрал озноб, ноги подкосились, и, чтобы не упасть, я ухватилась за локоть сестры. С дальнего конца переулка доносился собачий лай, из печных труб в ясное январское небо летели кляксы черного дыма.

Я сделала несколько шагов вслед за матерью и сестрой, остановилась и спросила, уперев руки в боки:

- Зачем мы здесь? Куда мы идем?

- В лечебницу, - тихо ответила мать, не глядя мне в глаза. - Пошевеливайся, бога ради.

Недоумение мое не исчезло, однако я успокоилась. Ночью рука совсем разболелась, распухшую нижнюю губу дергало. Я обрадовалась, что сейчас мне дадут обезболивающее.

Я подобрала чадру, сжала ее щепотью под подбородком и направилась следом за матерью и сестрой. У ближайшего строения мать схватила зубами край чадры, освобождая руки, взялась за медный молоток и постучала в дверь - раз, другой. В следующее мгновение дверь приоткрыли.

В вестибюле толпились женщины. Они стояли вдоль стены парами и группками, пожилые и совсем молоденькие, понуро ждали своей очереди, кусали губы и молчали.

С потолка свисал истертый, линялый ковер - импровизированный занавес, отделяющий вестибюль от прочих помещений. Чуть погодя девушка лет шестнадцати или семнадцати отодвинула ковер и провела нас по коридору в тесную комнатку, освещаемую двумя небольшими керосиновыми лампами. Там стояла едкая вонь: мне показалось, пахнет нашатырем. Прищурившись, я огляделась. Под самым потолком виднелся квадрат окна, забраный железной

решеткой. У стены стоял стол, накрытый белой простыней. В дальнем углу умывальник в бурых прожилках. Стены были голые, но, когда глаза мои привыкли к темноте, я заметила, что по одной стене от пола до потолка змеится трещина.

Я посмотрела на сестру, но она отвела глаза. Не тогда ли, не в ту ли минуту я догадалась, зачем мы приехали – или, скорее, зачем меня привезли сюда? Может, и так, но было уже слишком поздно. Отворилась дверь, вошла дебелая матрона с острым подбородком. Волосы у нее были расчесаны на пробор и забраны в узел на шее. Старуха закрыла дверь, поздоровалась наскоро, скользнула глазами по нам с сестрой и спросила у нашей матери:

– Которая?

Мать кивнула на меня.

Я беспомощно смотрела, как мать с сестрой выпроводили из комнаты. Девушка стояла, сцепив руки перед собой в замок.

– Садись, – матрона указала мне на стол. Я послушалась.

– Снимай трусы и ложись на спину, – велела она грубо, ведь моей матери и сестры уже не было рядом.

– Трусы?

Она кивнула.

Я покачала головой.

– Не сниму!

Старуха и девушка переглянулись. Я никогда не забуду ни их взгляды, ни страх, охвативший меня в тот миг. Я попыталась слезть со стола, но не успели ноги мои коснуться пола, как девушка шагнула ко мне. Она была тоненькая как тростинка, но на удивление сильная. Девушка толкнула меня на спину, привычным, как показалось мне, жестом задрала мои ноги на стол, уперлась

локтем мне в грудь и крепко зажала мне рот ладонью.

- Лежи смирно! - скомандовала старуха, засучила рукава и глубоко вздохнула. Потом сдернула мои трусы до щиколоток и одной рукой разжала мне колени.

Все, что было дальше, я забыла - или убедила себя в том, что забыла. Помню только одно: я сопротивлялась, и сопротивлялась яростно. Я оперлась на локти, пиналась, но девушка лишь сильнее давила локтем мне в грудь, крепче зажимала мне рот, чтобы я не кричала. Старуха схватила меня за щиколотки.

- Лежи смирно! - дружно велели обе.

Старуха проворно развела мне колени и сунула в меня два согнутых пальца. Я дернулась, пнула ее, на этот раз жестче. Тогда-то это и случилось - в тот миг, когда я попыталась вырваться. Меня вдруг пронзила боль, и я ахнула.

Старуха вынула из меня пальцы и порывисто вытерла их тряпкой. Что-то вынудило ее остановиться, и на лоб ее набежала морщина.

- Глупая ты девчонка. - Она посмотрела мне прямо в глаза - в первый раз с той минуты, как я пришла. - Я же велела тебе лежать смирно, но ты не послушалась и гляди, что натворила. - Она покачала головой и швырнула тряпку в корзину возле стола.

- Плева не повреждена, - сказала она моей матери, когда та вернулась в комнату. - Ваша дочь девственница.

Я затаила дыхание, боясь сказать слово.

- Слава Богу, - мать воздела руки к потолку и пробормотала молитву. - А сертификат?

- Разумеется, - беззаботно ответила старуха и направилась к двери. - Я сама его выпишу, ханум.

– У меня не было выхода, – всхлипнула сестра, когда все ушли и мы остались вдвоем. Она закрыла лицо руками. – Мать заставила показать ей письма Парвиза к тебе. Она заявила в кино, ну, когда ты была с ним одна. Должно быть, догадалась, что ты что-то задумала, потому что, когда мы вернулись домой, она вынудила меня показать ей письма. Клянусь, у меня не было выхода...

Она казалась такой несчастной: глаза опухли от слез, щеки покраснелись. Я сразу представила, как мать выследила ее; тем больнее было видеть синяк, со вчерашнего вечера расплывавшийся под ее левым глазом. Я не винила ее за то, что она показала матери письма Парвиза, вовсе нет, однако тогда в лечебнице я не нашла что ответить на мольбу сестры о прощении. И уж точно я не могла признаться ей, что, когда я после осмотра встала со стола и принялась одеваться, ноги у меня подкосились, голова закружилась, я едва не упала и в этот миг заметила корзину в углу. От того, что я там увидела, у меня екнуло сердце. Красная полоса на белой ткани. Кровь моей невинности.

Долгое время я боялась кому-нибудь рассказать о том, что со мной случилось, и даже подумать об этом, но теперь я могу вам сказать: в тот день кончилось мое детство и началась настоящая жизнь. И этого не отменить.

2

Меня зовут Фору́г, по-персидски это значит «негасимый свет».

Я родилась в Иране, стране, что раскинулась на пять тысяч километров на каменистом плато в кольце высоких гор. На севере, вдоль Каспия, – сосновые, березовые, осиновые леса; на юге – бирюзовые купола мечетей, деревни, высеченные из медовоцветного камня, разоренные сады и разрушенные дворцы Пасаргадов[4 - Пасаргады – древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов.], Суз[5 - Сузы – один из древнейших городов мира, в III – I вв. до н. э. столица Элама.], Персеполиса[6 - Персеполис – древний персидский город на юго-западе Ирана, возник в VI – V вв. до н. э.]. С востока до запада – бескрайние пустыни соли и песка. В границах Ирана каждый день можно найти все четыре времени года. Здесь, под непрестанно перемещающейся поверхностью полевых цветов, камней, песка, снега, тянутся к сердцу земли черные жилы нефти.

К 1935-му, году моего рождения[7 - Автор считает годом рождения Фору́г 1935-й, но точная дата ее рождения – 8 дея 1313 года солнечной хиджры, то есть 29 декабря 1934 года. В ее свидетельстве о рождении записана дата 15 дея, однако сестра Фору́г при жизни просила исследователей творчества Фаррохзад указывать верную дату.], Тегеран давно избавился от глинобитных стен и неглубокого крепостного рва, некогда окружавшего город, однако все еще выглядел отсталым: грязные дороги, узкие переулки, плоские крыши. Ни намека на великолепие Исфахана или Шираза с их блистающими мечетями и роскошными дворцами. Зато Тегеран окружали высокие горы, и даже летом, казалось, в городе пахло снегом.

Невозможно поверить, что моего старого квартала с его домишками, улочками и переулками больше нет, и я знаю, что даже если бы вернулась туда сейчас, много лет спустя, после войны и революции, то не сумела бы его отыскать. Но стоит мне закрыть глаза, и я снова в доме моего отца в Амирие. Долгие годы этот дом был для меня целым миром, и я не знала иного неба, кроме квадрата лазури над материнским садом.

Внутри дом по традиции делился на андарун, то есть женскую половину, и бируни – половину мужчин. Обе части дома соединял длинный узкий коридор; двор был обнесен высокой кирпичной стеной. Такие дома отворачиваются от мира, обращают взгляд внутрь; их обитательницы верят, что здесь даже стены чутки ко греху, поэтому правду мы говорили шепотом – или молчали вовсе.

Мой отец. В детстве я не осмеливалась назвать его отцом: он запрещал. Мы, дети, и наша мать звали его Полковник или корбан – «тот, ради кого я жертвую собой»; для всего остального света он был «полковник Фаррохзад». По-моему, лишь много лет спустя я узнала его имя. Спросить я не отваживалась и, даже после того как сбежала из его дома, продолжала называть его не иначе как Полковник.

Он был плечистый, с тяжелым подбородком и пронзительными черными глазами. В любой день и по любому случаю носил военную форму: китель с латунными пуговицами и рядами блестящих медалей, тяжелые черные сапоги и высокую папаху шахской армии. Он неделями пропадал в служебных командировках, оставляя нас на попечении матери, однако дом в Амирие был главным его гарнизоном, мы же, семеро детей, – рядовыми.

От звука его голоса в переулке или стука его черных сапог по плитам прихожей мы бросались врассыпную. Страх перед ним долгие годы отягощал наш сон. Мы никогда не знали наверняка, придет ли отец сегодня домой, но всегда ложились спать одетыми, аккуратно поставив обувь возле тюфяков, и лежали в напряженном ожидании. Если он ночевал в Амирие, то рано поутру будил нас, сыновей и дочерей, старших и младших, крепким пинком по ребрам. Мы вскакивали, наскоро причесывались и обувались. Пошатываясь, спотыкаясь и потирая заспанные глаза, проходили по коридору и спускались по изогнутой лестнице. Слуги еще спали в людской, мать творила утренние молитвы, и дом в этот час полнился тишиной и покоем.

Полковник дожидался нас в прихожей. Он, как всегда, был в полной военной форме, умощенные маслом волосы расчесаны на прямой пробор, кончики навощенных усов смотрят вверх. Рядом стоял его драгоценный граммофон, медный раструб поблескивал в полумраке. Одной рукой Полковник поднимал иглу, в другую брал трость с серебристым концом.

Мы выстраивались перед ним, и он по очереди нас осматривал.

- Вытянись! - командовал он. - Спину прямо! Голову выше!

Если мы зевали, забывали причесаться или заправить рубаху, выкручивал нам уши - а то и придумывал что похуже.

- Начали! - выкрикивал он и трижды бил тростью в пол.

Опускал иглу, и граммофон рявкал военным маршем. Начиналась утренняя строевая подготовка. Мы сгибали и выпрямляли колени, поднимали и сгибали руки, шагали на месте. Смотреть полагалось в воображаемую точку над головой Полковника: посмотришь прямо в глаза - тут же получишь тростью по ногам или мягкому месту. А если заплачешь, будет хлестать, пока не замолкнешь. Поэтому мы не плакали.

В общем, жизнь в доме Полковника строилась по законам нашего шаха: бей первым, не проявляй милосердия и не верь никому.

Стремлением самостоятельно распоряжаться собственной судьбой Полковник напоминал шаха. В один прекрасный день 1925 года, за девять лет до моего рождения, бывший неграмотный крестьянин и солдат по имени Реза-хан[8 - Реза-шах Пехлеви (1878–1944) – шах Ирана с 1925 по 1941 год.] накинул расшитый жемчугом голубой плащ на военный мундир, вошел в просторный зеркальный зал дворца Голестан и объявил себя шахом Ирана. Коронации предшествовала цепь удивительных событий. Реза-хан, простолюдин из беднейшего и глухого уголка Персии, десятилетиями наблюдал, как монархи из династии Каджаров[9 - Каджары – иранская династия, правившая с 1795 по 1925 год.] купаются в восточной роскоши, помноженной на европейский шик. Он наблюдал, как они отдают англичанам, французам и другим европейцам иранские земли, полезные ископаемые, предметы искусства, но самое страшное – источник благополучия нации: ее нефть. Он наблюдал все это и кипел от гнева. Неотесанный, необразованный, он остро сознавал былое величие государства и свой удел. Он пошел в солдаты, дослужился до полковника, премьер-министра и, наконец, силой собственной недюжинной воли стал шахом Ирана.

Гости на коронации, привыкшие к утонченности шахов и принцев Каджаров, втихомолку посмеивались над провинциальными замашками и грубыми манерами нового монарха. Поговаривали, будто бы Реза-хан, присвоивший самые роскошные дворцы и плодородные земли, по-прежнему каждый вечер расстилает на полу тюфяк и спит как крестьянин. Однако в лицо ему об этом сказать не отваживались, поскольку, если манеры нового шаха и вызывали сомнение, в его бешеном нраве и жестокости не сомневался уже никто.

Отец мой, Полковник, двух с лишним метров росту, был одним из немногих в Иране, кто мог смотреть шаху в глаза. Родом он был тоже из глухой деревушки Тафреш, в ста пятидесяти километрах к юго-западу от Тегерана. Род его славился учеными, но отец не пошел проторенной дорогой предков. В ранней юности он покинул родительский дом и поступил на службу в казачью бригаду[10 - Персидская казачья бригада (с 1916 года – дивизия) – кавалерийское соединение, созданное в Персии по образцу Терского казачьего войска. Существовала с 1879 по 1920 год.]. К этому времени Реза-шах собрал многочисленное войско и не менее многочисленный чиновничий аппарат, снес заброшенные и разрушенные дома, проложил широкие бульвары там, где прежде были грязные улочки, и, задавшись целью стереть все следы восточной отсталости, принялся избавлять Иран от верблюдов, ослов, дервишей и нищих. И все это время Полковник был правой рукой шаха, поклявшись верно служить ему до самой смерти.

* * *

Моя мать, Туран, была первой его женой. Тоненькая, черноволосая, с пухлыми губами. В прежние годы худобу рассматривали скорее как недостаток, но в 1920-е, когда моя мать была на выданье, в определенных кругах стали считать достоинством. По крайней мере, у матери вышло именно так. На снимке, сделанном во дворе родительского дома, в толпе дородных сестриц с косичками, в одинаковых хлопковых платьях с заниженной талией, она одна выглядела современно и, судя по улыбке, осознавала свое преимущество.

Однако было еще неизвестно, перевесит ли это ее достоинство такой недостаток, как смуглота. Ведь в моду вошла не только тонкая талия, но и белая кожа. Туран уже минуло четырнадцать, но у нее не было ни одного подходящего ухажера. Мать ее с удвоенной силой принялась осветлять цвет дочериного лица, перепробовала все что можно: тоники, лосьоны, масла, тинктуры – но кожа дочери, казалось, становилась смуглее день ото дня.

К облегчению родителей, в конце концов Туран заполучила не просто завидного жениха, а такого, который быстро продвигался по службе в армии шаха. Дело было так: после многолетнего отсутствия Полковник (ему уже минуло тридцать) вернулся в родительский дом в Тафреше, объявил матери, что намерен жениться, и дал ей скупой, однако предельно точный наказ. «Девушка должна быть стройной», – сказал он. С этим его мать отправилась в деревенский хаммам, чтобы обозреть девиц на выданье, и в конце концов выбрала Туран из стайки других, которые лично ей казались намного краше, но которых ее сын наверняка отверг бы.

Моя мать вышла замуж в пятнадцать лет.

– Ты покинешь этот дом в белом, – накануне свадьбы прошептала ей на ухо ее мать. Это значило, что отныне она принадлежит мужу и вернется в дом родителей лишь в белых погребальных пеленах. До свадьбы она видела жениха всего дважды, и оба раза ее сопровождала компаньонка, но и этого тогда было достаточно, чтобы брак считался «заключенным по любви». На счастливое замужество моя мать едва ли рассчитывала (воспитание вынуждало ее отказаться от подобной надежды – не говоря уже о расчете), однако ни сомнения, ни страх, если таковые и были, не помешали ей обратить лицо к будущему, то есть к мужу.

Первое испытание выпало ей вскоре после свадьбы, когда отца послали в предгорья Эльбурса охранять шаха и его семью во время летнего отдыха. Однажды мне на глаза попала ее фотография тех лет, с фестончатыми краями и печатью фотографа шаха. На ней мои родители стоят рядом; солнце за их спиной рябит кроны буков и склоны гор. Полковник в форме казачьей бригады: белом кителе, черных брюках и высоких кожаных сапогах. Он был удивительно хорош собой, но я не отрываясь смотрела на мать. На ней были бриджи, белая блузка на пуговицах, горло кокетливо повязано шелковым шарфом. Очевидно, мама каталась верхом в горах. Ветер треплет ее локоны, и она одной рукой убирает за ухо прядь волос. Улыбаются не только губы, но и глаза. Меня заворожило, что она, оказывается, была отважной и не чуралась удовольствий.

Когда Реза-шах законом запретил носить чадру, высшие военные чины, министры и соратники, входившие в его ближний круг, собрали своих жен и велели им явиться непокрытыми перед шахом. За этим последовали пересмотры гардеробов. Ни один аксессуар не показывал так ярко отношение к новому указу шаха, как дамская шляпка. Набожные жены надвигали на глаза широкополые шляпы с плюмажем – ближайшее подобие чадры, которое они могли себе позволить, не вызвав шахского гнева; менее скромные носили шляпки поменьше, заломив их набекрень, и совсем уж бесстыжие ходили вовсе без шляп.

Под рев гудков флотилия автомобилей с женщинами без паранджи проплыла по улице Пехлеви – нарочито медленно, дабы жители Тегерана прониклись зрелищем того, что ждет их жен. Вскоре женщин, не носивших чадру, будут забрасывать оскорблениями, а в некоторых кварталах и камнями. Против нового закона восстанут не только муллы: тысячи женщин после запрета чадры откажутся выходить за порог дома. Но в тот день горожане еще не опомнились от потрясения, а потому и не бранили шаха, не швыряли камни в женщин, не запирались в домах и не взывали к Аллаху.

У меня нет фотографий матери в тот день, но я представляю, как они с Полковником медленно катят в черном «мерседесе» по улице Пехлеви. На маме костюм с юбкой и шляпка-колокол с перышком, ноги скрещены, руки сложены на коленях. Через несколько лет запрет отменили, но мать все равно никогда уже не надевала чадру – разве что во время молитвы, когда собиралась на похороны или в паломничество к гробнице имама Резы в Мешхеде[11 - Мазар имама Резы – архитектурный комплекс в Мешхеде, центр туризма и паломничества в Иране.]. Свои черные волосы мама красила в рыжеватого-

каштановый, носила корсеты и чулки со стрелками, подчеркивала платьями тонкую талию и никогда не выходила из дома, не тронув губы алой помадой.

Но все это было еще до меня, до того как она стала матерью, а я – дочерью, которая покрыла ее позором.

В первых моих настоящих воспоминаниях мама стоит в обнесенном стенами саду в Амирие, одной рукой прикрывает глаза от солнца, в другой держит лейку. Август, буйно цветут розы, настурции, зеленеет жимолость. Над клумбами гудят пчелы, в кронах сосен и кипарисов снуют малиновки и воробьи. Вдоль всего двора тянется вымощенный темно-синей плиткой прямоугольный бассейн – хоз, и послеполуденное солнце рассыпает бриллианты по водной глади.

Сад был маминой отрадой. Здесь лицо ее смягчалось, взгляд прояснялся. Она расставила по внутреннему двору огромные глиняные горшки с цветами – для украшения дома – и горшочки поменьше с мятой, петрушкой и базиликом, с которыми готовила рагу. По утрам мама накачивала воду из цистерны и одно за другим поливала из жестяной леечки растения. Долгие годы воду в наш дом доставлял водонос, жилистый старик, который, взвалив гигантские глиняные кувшины на телегу, запряженную лошадьми, ездил по улицам Тегерана, продавал свежую воду из горного ручья. Содержимое кувшинов хранили в подземной цистерне и расходовали умеренно, чтобы хватило на всю неделю.

Весной, с наступлением тепла, слуги расстилали ковры на террасе. Здесь, под увитым пышными, бархатистыми розами навесом, мать чаевничала с подругами. Долгими летними днями в сгущающихся сумерках они грызли печенье, лущили арбузные семечки, сплетничали, пререкались и поверяли друг другу тайны. За разговорами понемногу темнело, и тогда они отряхивали юбки, чмокали друг друга в щеки и расходились, пообещав завтра встретиться снова.

Мы с Пуран, моей старшей сестрой, играли в глубине сада: у нас были свои истории и игры, хотя порой мы и подсматривали за матерью с подругами. Сад мы обожали – впрочем, как все дети. Мы с братьями и сестрами любили плескаться в выложенном синей плиткой хозе. С Пуран мы часто озорничали, но нипочем не осмелились бы сорвать ни одну из маминых роз, хотя жимолость и жасмин, пышные кусты которых росли вдоль стен сада, обрывали бестрепетно. Мы вешали на уши вишенки, как сережки, и лепили на ногти длинные розовые лепестки георгинов, подражая маникюру взрослых женщин. Мы плели друг

другу венки из гроздьев белой акации и ходили в этих медвяных коронах. Усевшись под одним из фруктовых деревьев – гранатом ли, грушей, айвой, – мы с сестрой рассказывали друг другу секреты.

Вечерами сад переходил в распоряжение отца и его товарищей-военных. Слуги расстилали на террасе шелковые ковры, раскладывали стопки парчовых подушек. Самовар наполняли свежей водой и растапливали углями, приносили подносы с фруктами и сладостями. По двору разливался сладковатый запах дыма и розовой воды из золоченых кальянов. Моих братьев отец порой приглашал присоединиться к собранию, девочкам же строго-настрого запрещалось попадаться гостям на глаза. Но до нас все равно долетали голоса мужчин, и мы, спрятавшись у приоткрытого окна на втором этаже, слушали, о чем они говорят. В конце концов от политики они переходили к поэзии и принимались читать стихи, например рубаи Хайяма:

О, если б, захватив с собой стихов диван
Да в кувшине вина и сунув хлеб в карман,
Мне провести с тобой денек среди развалин, –
Мне позавидовать бы мог любой султан[12 - Пер. О. Румера.]

В ответ звучали строчки Руми:

Стрела моей любви
попала в цель,
Я в доме милости,
душа моя –
вместилище молитвы.

Собрания длились часами, гости один за другим читали стихи персидских поэтов: Руми, Хайяма, Саади и Хафиза. Меня изумляло и восхищало, что отец мой, Полковник, от одного косого взгляда которого нас пробирала дрожь, такой искусный чтец. Грудной голос его идеально подходил для чтения поэзии, а восклицания «Прелестно!» и «Блестяще!» лишь подхлестывали увлечение, с которым он декламировал.

Я слушала, спрятавшись за окном, замороженная музыкой языка, который походил то на шепот влюбленного, то на жалобный шелест камыша. Слова впивались в меня крючками и не отпускали. Реки, океаны, пустыни, роза и соловей – все эти традиционные образы персидской поэзии я впервые услышала на таких вот ночных застольях в саду, и, хотя я была совсем ребенком, эти строки звали меня в иные края.

* * *

Никто не думает о цветах,

Никто не думает о рыбках.

Никто не желает верить, что гибнет сад.

Что под палящим солнцем

у сада сердце распухло,

что сад теряет бесшумно зеленую память.

Чувства сада

одиноким гниют в нем,

отгороженном от мира.

«Мне жалко сад»

– Сделайте так, чтобы стало свободнее, просторнее! – взмахнув тростью с серебряным наконечником, приказал Полковник осенним утром 1941 года.

Вот уже несколько месяцев по улицам Тегерана маршировали голубоглазые солдаты. В небе тархтели самолеты. По городу грохотали танки и грузовики. Вечерами Полковник удалялся в свой кабинет со стаканом арака и слушал по радио новости. Раз-другой я подслушивала под дверь, но передачи были на английском и я ни слова не поняла. Наберись я смелости спросить, что происходит (чего я не сделала), он ответил бы, что меня это не касается – да и что я вообще смыслю в подобных вещах?

Я обо всем догадалась, когда повзрослела. Нас оккупировали. Союзники вторглись в Иран, чтобы уберечь от врагов месторождения нефти. Реза-шах вынужден был отречься от престола в пользу сына и уплыть сперва на Маврикий, а потом в Южную Африку. Без малого двадцать лет он железной рукой правил Ираном, теперь же ему запретили возвращаться в страну. Месяц за месяцем гордый, но сломленный Реза-шах сидел в Йоханнесбурге, обратив печальный взгляд туда, где за тысячи километров от Южной Африки, за Персидским заливом, раскинулся Иран.

Полковнику, пылкому роялисту, новый шах, Мохаммед Реза Пехлеви, застенчивый, манерный, наверняка казался жалким подобием отца. Когда через несколько лет стало известно о смерти Резы-шаха, Полковник был убит горем. Однако же, несмотря на бесконечные мерзости и унижения, последовавшие за свержением Резы-шаха, Полковник упорно расхаживал по улицам Тегерана в военной форме, надвинув на глаза колах Пехлеви[13 - Кепи, которое военные стали носить при Резе-шахе.].

Мы же, дети, ни о чем не подозревали: нам казалось, что и при новом шахе ни взгляд, ни поступь Полковника не утратили прежней уверенности. Мы понятия не имели о том, что творится в Иране. Опасались мы одного: дурного настроения и гнева Полковника, а уж к ним-то мы давно привыкли.

А потом он уничтожил сад.

В наш дом в Амирие явилась бригада рабочих, чтобы осовременить сад на западный манер. Мы с сестрой наблюдали за ними сквозь затемненное оконце. Они выкорчевали деревья и кустарники – кипарисы, смоковницы, сосны, тисы, айву; они вырубали кусты, свалили кучей в кузове грузовика и увезли прочь. Там, где прежде были клумбы роз и горшки с геранью, они насыпали землю для газона. Они вырвали и уволокли старенький ручной насос, установили шланги, опрыскиватели и дождеватели. Прямоугольный хоз с его темно-синей плиткой они залили цементом, превратив эту часть сада в стоянку для машин. Вкопали там-сям искусственные акации и наконец ушли.

Впоследствии в Тегеране уничтожили тысячи садов, но лишь много лет спустя я узнала, что наш сад в Амирие, во всем своем пышном цветении, сгинул одним из первых. Старые персидские сады один за другим канули в небытие, однако стены между садами так и не снесли, и мы не видели, какие перемены творятся

у соседей. И даже не догадывались, что нам суждено вновь и вновь терять то, что мы уже потеряли.

Полковник по-прежнему принимал в саду друзей и товарищей, только теперь они сидели не на подушках, а за столом и пили не арак, а виски и водку. Если он и скучал по старому саду, то ничем этого не обнаруживал.

Помню, рабочие давно ушли, а мама все стояла у края двора, пальцы ее терзали передник, лицо исказила скорбь. Больше она никогда не гуляла по саду утром и ранним вечером, а днем не просила слуг расстилать ковры для чаепития. Подруг она приглашала в дом. Хасан, наш слуга, выпустил золотых рыбок в лужицу, оставшуюся от бассейна. Когда рыбки уснули, мать не стала покупать новых, и вскоре хоз пересох совершенно, плитки пошли трещинами.

Нам, девочкам, хотелось отомстить. И в конце концов мы тайком сорвали злость на акациях. Улучив момент, мы отломали с них все дурацкие восковые листья и уродливые, ничем не пахнущие пластмассовые цветы, так что остались лишь голые стволы. Наш сад погиб, и я никогда не прощу отца за то, что он велел его уничтожить.

З

– Бог всюду, – прищурясь и бросив на меня пристальный взгляд, внушала мне мать, когда я была ребенком. – Он всюду и видит все, что ты делаешь.

Сама она не покрывала лицо, носила корсет и красила губы, однако ж вся ее жизнь была точно молитвенный коврик, расстеленный перед алтарем страха. Намаз она читала всего дважды в день, на рассвете и на закате, а не пять раз, как истинно верующие, – зачастую молилась коротко и наспех. Однако же верила, что всё, совершенно всё в руках Аллаха. И если с дерева падает плод, то лишь по Его воле; и если плод сгнил, не успев созреть, то в этом тоже Его воля. Мать считала, что жизнью правит гисмат, судьба. При рождении человека ангелы пишут невидимыми чернилами на лбу его гисмат.

– Ты не в силах изменить то, что предначертано Господом, – говорила мне мать. – Не в силах, Форуг, глупо даже пытаться.

На следующий день после того, как она потеряла свой прекрасный сад, меж материнских бровей и в уголках ее губ залегли глубокие морщины, рот искривила печальная гримаса. Мать и прежде нередко и легко выходила из себя, теперь же, когда она лишилась сада, за которым ухаживала, вспышки ее гнева участились – по крайней мере, мне так казалось.

Сильнее всего ее раздражал беспорядок. Семья наша никогда не была зажиточной, однако отец получал солидное полковничье жалованье и даже в худшие годы, даже когда союзники оккупировали Иран и продукты на рынках отпускали по строгой норме, мы не испытывали нужды в необходимом и могли позволить себе кое-какие излишества. И уж точно никогда не испытывали нужды в слугах. Большую часть домашней работы мать могла бы перепоручить Санам, нашей няне и кухарке, Хасану и многочисленным мальчишкам, которые служили отцу и обитали на мужской половине, бируни. Однако она не присаживалась ни на минуту: волосы забраны в тугий узел на шее, за пояс юбки заткнута тряпка, мать бродит по дому, жалуется на глупость слуг, детские каверзы и прочие нескончаемые обиды, которые наносит ей жизнь.

– Господи, прибири меня! – говаривала она, качая головой, вскидывая глаза и руки к небу.

Теперь она часами просиживала в одиночестве в мехмун хуне, просторной гостиной. Это была самая нарядная комната в доме, оформленная в соответствии со вкусами, царившими тогда в Иране, то есть с французским шиком XVII столетия. Пурпурная банкетка, столики и стулья с золочеными ножками, буфет красного дерева с мраморным верхом. На каминной полке хрустальные вазы, бархатные драпри закрывают окна и струятся по полу. В мехмун хуне постелили наши лучшие ковры: тебризские, широкие, бледно-голубого шелка – уступка традиционному персидскому стилю и одновременно деталь, придававшая гостиной законченный и пышный псевдоевропейский облик. Смахнув пыль с мебели и каминной полки, мать опускалась на колени и вручную расправляла кисточки на коврах. Одна-единственная выбившаяся ниточка доводила ее до исступления, и мать начинала заново: разглаживала кисти, чтобы каждая лежала ровно.

Обычно – за исключением праздников и званых ужинов, на которые собирались товарищи и сослуживцы отца, – в мехмун хуне не заглядывал никто, кроме моей матери. Нам, детям, переступить порог комнаты строго-настрого запрещалось, а когда материны угрозы и предупреждения перестали действовать и мы нет-

нет да и вторгались в гостиную, мать стала запирает дверь на ключ, который носила в кармане фартука.

Другие двери она тоже запирает.

Когда мы с Пуран были совсем маленькие – мне два, ей три, – мать каждый день отводила нас на балкон, выходящий во внутренний двор, и запирает дверь изнутри. Надолго ли она оставляла нас там? Мне казалось, что мы просиживали на балконе дни напролет. В холодную погоду она одевала нас в зимние пальто, перчатки, шерстяные шапки; когда было тепло – в сшитые вручную хлопчатобумажные платья, но более не заботилась ни о нашем удобстве, ни о развлечении. Это и был весь наш мир, полтора метра в длину, полметра в ширину, с высокой железной решеткой, закрывавшей нам вид на сад.

Кажется, в раннем детстве ни я, ни Пуран не возражали против нашего заключения. Мы довольствовались тем, что играли в куклы и рассказывали друг другу истории. Мы с сестрой устроили на балконе собственный мир и ссорились, только если случалось проголодаться. Но к пяти годам меня уже возмущало, что нас запирают на тесном балконе, тогда как три старших брата играют на улице. Они убегали из дома с утра и весь день пропадали на улице с соседскими мальчишками: играли в догонялки, в стеклянные шарики, в футбол (вместо ворот – потрепанные картонные коробки). Порой до меня долетали их крики и смех, и я ужасно злилась. Мне тоже хотелось увидеть что-то помимо стены сада, помимо нашего проулка и собственного отражения в оконном стекле. Когда братья бывали дома, мы часто играли вместе, и я не уступала им в смелости, но потом они убегали на улицу – в тот мир, куда мне путь был заказан.

– Идем! – крикнула я сестре жарким летним днем. Солнце час как село. Мне было семь лет. Я схватила Пуран за руку и потащила за собой вверх по лестнице.

Над крышами Тегерана плыло знойное марево; на улицах и в переулках царил безмолвие. В окно сочились ароматы долгих летних вечеров: черный чай с лепестками роз и стручками кардамона, от угольных жаровен тянуло кинзой и зирой, из сада – пьянящей смесью жимолости и жасмина, из переулков доносился едкий и пыльный запах города; первые жаркие дни года. Уличные торговцы убирали лотки, ставили подносы на голову и шагали домой.

Мама и няня вышли из полуподвала, где обычно дремали в теплые месяцы. Дом наполнился их голосами, звоном кастрюль и сковородок. Женщины подсыпали в самовар свежего угля для вечернего чаепития и принялись готовить ужин: нарезали петрушку, кинзу, укроп, обжарили лук и баранину на рагу, промыли и сварили рис.

– Как думаешь, они еще гуляют? – спросила я на лестнице сестру. «Они» – то есть три наших старших брата, которые убежали из дома еще в полдень. Или даже раньше.

Пуран не ответила на мой вопрос – только сказала:

– Давай туда не пойдем. – Она схватила меня за руку и потянула прочь от двери на крышу. – Если нас поймают, нам попадет.

Я, как обычно, пропустила ее предупреждение мимо ушей. Сестре в тот год было восемь – на год старше меня, – но мне удавалось подбить ее на каверзы (правда, не всегда).

– Наверняка они играют в карты на улице, – заявила я. – И сверху мы их увидим.

Улицы – это был целый мир. Стоило мне представить, как братья бродят по городу, а мимо них ездят дрожки, сновавшие по Тегерану хлипкие конные повозки, ходят уличные торговцы с корзинами груш, – и щеки мои вспыхивали от зависти. Даже Ферейдуна, который младше меня на три года, отпускают на улицу со старшими братьями. «Почему мне нельзя погулять с ними?» – снова и снова спрашивала я мать. Она же в ответ лишь вздыхала, качала головой и заламывала руки. К семи годам я и сама осознала свое положение. Я девочка, а девочек не выпускают за пределы дома. Мне внушали, что только мальчики могут играть на улице, девочек там подстерегают опасности и тревоги; дом – наше единственное прибежище.

Но я не упускала случая поиграть с братьями. Когда они оставались дома, я ходила за ними хвостом, участвовала в их проказах. Однажды днем мы с Пуран заметили, что братья забрались на крышу, чтобы пострелять из рогатки по голубям. Я терпеть не могла такие жестокие игры, но сейчас, приоткрыв дверь на крышу, догадалась, что мы застукали братьев за очень увлекательной проделкой.

Я вырвала у сестры свою руку и принялась наблюдать за мальчишками.

Они по очереди шагнули к краю крыши, расстегнули штаны и помочились в проулок за домом.

- Они соревнуются! - захихикала я. - Они соревнуются, кто дальше пописает!

- Давай вернемся в дом, - заныла Пуран, - пока мама нас не увидела!

Я покачала головой.

- Иди, если хочешь! - ответила я. - А я остаюсь.

Пуран не ушла, но и смотреть на братьев не отваживалась - закрыла лицо ладошками. Я же впилась взглядом в мальчишек и, когда они собрались объявить победителя, рванула к ним, на край крыши. Это оказалось нелегко - уж очень узкий был карниз, толком негде поставить ногу, - но в конце концов я примостилась на краю, стянула штанишки, задрала юбку и, выпятив бедра вперед, пописала в проулок. Уж как смогла.

Закончив, поддержнула штанишки, опустила подол, развернулась и направилась к братьям. Они тарасились на меня, разинув рты. Сестра не сводила с меня глаз. Она покраснела, закрыла рот руками.

- Я победила! - выкрикнула я и принялась бегать вокруг братьев.

Никто мне не ответил. Тогда я остановилась, уперла руки в боки и повторила:

- Я победила!

Пусть только попробуют мне возразить. Но они промолчали.

Тишину нарушил стук шагов по крыше и дикий вопль сестры:

- Форуг, прячься!

Но поздно: мать все видела. Она подошла ко мне, замахнулась, рявкнула:

– В тебя опять джинн вселился?

Я увернулась, припустила к лестнице и помчалась вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Сердце выскакивало из груди. На середине лестницы мать настигла меня, схватила за рукав и сказала:

– Никогда так больше не делай, слышишь? Никогда!

Щеки мои пылали, но не от боли, а от унижения. Я плакала до вечера, но когда ночью мы с Пуран вспоминали эту сцену, то хохотали так, что у нас разболелись бока. Соревнование, лица мальчишек, то, как мать лупила меня на глазах братьев и сестры, – с каждым повторением история обрастала драматическими подробностями.

Я давным-давно поняла, как приятно нарушать правила, но лишь в тот день познала большее удовольствие: рассказывать истории.

Мать натерпелась из-за моего крутого нрава. В Иране дочерей воспитывают тихими и послушными, я же росла упрямой, шумной, дерзкой. Примерная дочь должна быть набожной, скромной и опрятной; я была порывистой, неряшливой и любила перечить. Себя я считала ничем не хуже братьев – ни смекалкой, ни отвагой. В детстве, когда мы с Пуран играли в саду, нам частенько доставалось от мамы за то, что мы вымазались в грязи. Кроткую, готовую разреветься от малейшего упрека Пуран мама только журила, но стоило ей заметить ссадину на моем локте, царапину на колене или испачканное платье, как она хватала меня за руку, давала пощечину или шлепала по заднице.

Она подолгу размышляла над тем, почему я никого не слушаюсь, и чаще всего приходила к выводу, что в меня вселился злой дух, джинн. На Ноуруз, Новый год[14 - Новый год в Иране начинается 21 марта – с праздника Ноуруз.], я пробиралась в гостиную, набивала рукава платья фруктами и сладостями, которые мама приготовила для гостей, часть брала себе, остальное делила между братьями и сестрами. Обнаружив, что я краду угощение, мать закрыла меня на балконе. Я кричала так громко и долго, что мама испугалась, как бы не услышали соседи: пришлось ей отпереть дверь и впустить меня обратно

в дом.

– Опять в нее джинн вселился!

Джинн. Мне нравилось само слово, и я с восторгом представляла, что во мне обитает коварный дух. Да и кто знает, вдруг и в самом деле некий джинн будоражил мою кровь? Нрав у меня был крутой – настолько, что порой пугал меня саму. Одежда моя вечно была в чернилах, краске или грязи. Осердясь, я таскала Пуран за косицы так, что она заливалась слезами, пинала братьев по ногам, носилась по коридорам, кубарем сбегала по лестницам. «Я больше мальчишка, чем любой из вас!» – кричала я, когда братья смеялись надо мной или дразнили меня, а они делали это частенько.

Если мать грозилась, что сейчас меня накажет, я упирала руки в боки, вздергивала подбородок и спрашивала:

– За что?

– Прикуси язык! – рявкала мать.

Как-то раз в ответ я вонзила зубы в язык и не выпускала его, пока не почувствовала сладковато-железистый привкус крови. Тогда я высунула язык – показать матери, что я сделала, как велено. «Убей меня Аллах!» – воскликнула она и впила ногтями в щеки. Однако чем хуже я себя вела, тем менее вероятно было и то, что мать нажалуется Полковнику, поскольку он обвинил бы во всем ее саму.

Наша няня, Санам, как могла старалась меня усмирить. Мне даже казалось, что, кроме нее, нас никто по-настоящему не любил. Двенадцатилетней девочкой она попала в Тегеран из провинции; замуж Санам так и не вышла. Не знаю, хотелось ли ей вернуться в родную деревню, обзавестись семьей; большая часть ее жизни прошла в нашем доме в Амирие, и она заботилась о нас как о собственных детях. Смуглая густой, тепло-коричневой смуглостью, с щеками, изрытыми оспинами, Санам не была красавицей, но черные глаза ее, подведенные сурьмой, сияли. От няни всегда пахло гвоздикой и базиликом, а когда Санам смеялась, она запрокидывала голову. Я ее обожала.

Чтобы успокоить вселившегося в меня джинна, Санам подливала настой валерианы мне в рагу и в вишневый сок. Вечером добавляла каплю опия в мою кружку с кипяченым молоком. Я терпеть не могла кипяченое молоко, вдобавок была слишком умна, чтобы попасться на такую уловку. Стоило Санам отвернуться, как я выливая молоко в цветочный горшок, кухонную раковину или отдавала младшему братишке, который жадно его выпивал и потом спал беспробудно шестнадцать часов кряду.

Однако ни нежная забота моей нянюшки, ни материны упреки не сумели изгнать из меня джинна. Мама придумывала все новые наказания. В детстве мы с братьями и сестрами играли в одну игру. Протягиваешь ладони, другой должен по ним шлепнуть, а ты – успеть их отдернуть, чтобы тот промахнулся. Мы называли ее «Неси хлеб, бери кебаб». И когда я была совсем маленькая, одно из наказаний смахивало на эту забаву. «Вытяни руки!» – приказывала мать. Я подставляла ладони, будто в игре, только била по ним мама не ладошкой, а железным прутом и отдергивать их запрещалось.

Когда я подросла, наказания стали изощреннее. Мать отыскивала меня в укрытии на чердаке, отводила вниз и запирала в подвале: там соседи точно меня не услышат, кричи не кричи. А если услышат, какая разница? Я непокорная дочь, и вышkolить меня – ее прямая обязанность.

К пятнадцати годам я дала себе слово, что никогда никого ни о чем не стану просить. Год за годом я все внимательнее следила за матерью – может, даже больше, чем она за мной. Вечерами, затаив дыхание, простаивала под дверью ее спальни, страшась постучать и не в силах уйти. Я садилась на корточки, прикивала глазом к замочной скважине – старинной, под тяжелый кованый ключ – и наблюдала. Мать сидела на полу, скрестив ноги; свет падал на вышивание, которое лежало у нее на коленях. Распущенные волосы рассыпались по плечам. Часто она даже не прикасалась к вышиванию, сидела, устремив взгляд в стену, или плакала, закрыв лицо руками.

В один год я наблюдала, как живот ее круглится от недели к неделе, и в конце концов тело ее выдало то, о чем мать никогда бы не обмолвилась.

– Не плачьте, – шептала ей на кухне Санам, кивая на материн живот. – Не то младенец услышит ваши слезы!

Может, младенец и правда проникся ее печалью, потому что, когда Глория, младшая моя сестра, седьмой и последний ребенок моей матери, наконец появилась на свет, она не издавала ни звука – разве что, проголодавшись, принималась кряхтеть.

В отсутствие Полковника наша мать управляла домом и нами, детьми; при нем же робела, сжималась, отмалчивалась, а если и говорила, то не осмеливалась поднять на него глаза. Мать его боялась. Полковник был требователен, привередлив и, как говорится, не касался ни черного, ни белого: гордыня его была паче голода или жажды. Если мать уходила в город – будь то по делам, навестить знакомых или заболевших родственников, – Полковник уединялся в библиотеке и не удосуживался даже выйти на кухню за чаем. Вернувшись домой, мать сразу же заваривала чай и относила на мужскую половину – вместе с бисквитом, пропитанным медом и розовой водой.

Первого числа каждого месяца Полковник выкладывал для матери на каминную полку в гостиной ровно сто туманов[15 - Туман (томан) – денежная единица Персии с 1825 по 1932 год.]. Порой я слышала из коридора, как она просит его прибавить. «Обувь у детей совсем сносилась», – говорила она. Или: «Им нужно тетрадки в школу купить». И обязательно добавляла: «Вы сегодня не останетесь ночевать?» Иногда в ее тоне сквозила нежность, иногда – отчаяние, но, насколько я помню, она никогда не повышала на него голос. Она прикусывала губу, впивалась ногтями в щеки, заламывала руки, но не жаловалась на его отлучки и не требовала денег. Никогда.

Я до конца своих дней не забуду, как матери приходилось выпрашивать все: и деньги на хозяйство, и, что еще хуже, внимание мужа. И хотя это Полковник кричал на нее так, что было слышно за дверью, стучал кулаком по каминной полке, а порой и давал матери пощечину, именно ее мне хотелось схватить за руки, встряхнуть хорошенько, мою мать, которую я осуждала и которой причиняла боль, мою мать, с которой я воевала столь же отчаянно, сколь и любила. Здесь-то, за дверью гостиной, я и дала себе клятву: пока жива, никого ни о чем не попрошу.

Правда, вскоре мне предстояло нарушить эту клятву, но к тому времени я уже утратила имя и никому не принадлежала.

– Во «Дворце», – в один прекрасный день шепнула я на ухо Парвизу в переулке за нашим домом.

Мне уже исполнилось шестнадцать, но я по-прежнему оставалась ребенком.

– В пятницу, – добавила я, от холода потирая руки, и бросилась бежать.

– Форуг! – окликнул он.

Его крик догнал меня на углу. Я обернулась так стремительно, что врезалась в шагавшую по улице старуху.

– Простите, – пробормотала я.

Старуха в ответ проворчала что-то неразборчивое, посмотрела поверх моего плеча на Парвиза, перевела взгляд на меня. Узнала ли она меня? Быть может, она знает мою мать и где мы живем? Наверное я сказать не могла, однако все равно стремительно развернулась и пошла в другую сторону.

Едва старуха скрылась из виду, как я вернулась к Парвизу. Он ждал меня, засунув руки в карманы, с беспомощным видом мерил шагами переулков. Не придет он во «Дворец», подумала я. Слишком опасно – это я понимала даже в чаду влюбленности, – он боялся, что нас поймают.

Я ошибалась.

– Во сколько? – одними губами спросил Парвиз, когда я подошла ближе.

Я оттопырила шесть пальцев и припустила прочь из переулка, обратно в дом Полковника. Сердце мое выскакивало из груди.

* * *

Дербенд. Именно там, в деревушке у подножия горы Демавенд, что в переводе значит «закрытая дверь», и началась история моей любви к Парвизу и поэзии.

Был 1950 год; тем летом в Тегеране стоял одуряющий зной и небо хмурилось от пыли и сажи. В июле отец на месяц уехал с сослуживцами отдыхать на побережье Каспия, оставив семью в столице. К концу июля жара стала нестерпимой: мы сутки напролет проводили в подвале и это вынужденное заточение сводило нас с ума.

В августе мать решила, что больше не выдержит в столице ни дня, и мы отправились на машине в баг, имение моего дяди. Дорога за городскими стенами вела в предгорья Эльбурса; на раскинувшихся перед нами полях буйно цвели душистые цветы. Всю свою жизнь я прожила в Тегеране и не знала, что за городом такой простор и тишина.

Тем летом дом моего дяди был переполнен: к многочисленным его детям добавились родственники с семьями, бежавшие от городской жары. Родители допускали вольность в общении между двоюродными и троюродными братьями и сестрами – разумеется, в определенных пределах. Кузены и кузины флиртовали друг с другом настойчиво и изящно, чего не могли позволить себе с прочими сверстниками; зачастую такой флирт оканчивался браком. Я не питала ни капли влечения ни к кому из кузенов: для меня они были просто братья – одни раздражали чуть больше, другие – чуть меньше прочих. Но вечерами, когда мои родные братья и кое-кто из старших кузенов собирались у ручья и говорили о философии и поэзии, мне отчаянно хотелось присоединиться к ним.

– Читали последнее эссе Парвиза? – спросил один из моих братьев, показывая кузенам журнал.

– Да, вещь отменная! – откликнулся кто-то.

Собравшиеся одобрительно забормотали.

Я подошла к брату и выхватила у него журнал. Тогда многие сочиняли стихи, дабы убить время, но я ни разу не видела никого, кому удалось бы опубликовать хоть что-то из написанного. И правда, вверху страницы жирным шрифтом значилось имя моего троюродного брата, Парвиза Шапура.

– Дай сюда! – велел брат, но я, пока он не отобрал у меня журнал, успела пролистать эссе. Я сообразила, что это сатира, однако эссе изобиловало

литературными аллюзиями и политическими метафорами, и я толком не поняла, о чем речь.

Школу я бросила год назад, когда мне исполнилось четырнадцать. И вот теперь я осознала, что братья – родные, двоюродные ли – читали книги, о которых я слыхом не слыхала, учили языки, которые мне никогда не понять и на которых не заговорить. Но все это были пустяки по сравнению с тем, какая зависть меня охватила, когда я узнала, что мой троюродный брат Парвиз – известный писатель.

Этой минуты озарения мне не забыть никогда.

О том, что бросила школу, я ничуть не жалела, но скука томила меня ужасно. Я старалась как можно больше времени проводить в отцовской библиотеке, просторной комнате в дальнем конце бируни. Ставни здесь всегда были прикрыты, и в библиотеке царили неизменные тишина и полумрак. В углах лежали стопки ковров, заглушавших шаги. Шкафы от пола до потолка были уставлены книгами в кожаных обложках с золотым обрезом: история, философия, сборники стихов.

По пятницам, в священный день отдохновения, Полковник обычно бывал дома, и нам дозволялось провести с ним час в библиотеке. Когда мы с Пуран еще ходили в школу, он расспрашивал нас, что мы выучили на этой неделе. Правда, уроки у мальчиков всегда проверял дотошнее. Я радовалась, что ко мне почти не придираются, однако с каждым днем мне все больше хотелось выделиться среди братьев и сестер. Я жаждала получить похвалу. Впоследствии я возненавидела себя за это желание, но в детстве готова была на что угодно, лишь бы заслужить одобрение Полковника. Или хотя бы просто привлечь внимание. И вскоре я сообразила, как это сделать.

Полковник нередко читал нам вслух – из «Шахнаме», то есть «Книги царей», или «Дивана» Хафиза (два самых толстых тома в библиотеке, которые он больше всего ценил). По-моему, «Диван» он вообще знал наизусть. В те часы в библиотеке, когда он читал нам стихи – пусть всего несколько строк, – я видела в нем не Полковника, а просто отца. Черты его смягчались, голос теплел. В раннем моем детстве он порой подзывал меня к себе – переверачивать страницы: в эти минуты я почти его не боялась. Я стояла подле него, глазела

на страницы, чувствовала его тепло. От него пахло бриолином, одеколоном и сигарами. Часто он читал стихи наизусть. Закрывал глаза и целиком отдавался строчкам, а вслед за ним и я.

Иногда днем, когда вся семья погружалась в сон, я пробиралась в библиотеку, доставала с полки том, садилась на пол, скрестив ноги, и клала книгу на колени. Кожаная обложка была прохладная и гладкая на ощупь. Я открывала том и погружалась в уединенный мир его страниц. Водила пальцами по рукописным строчкам: чернила чуть шершавили бумагу. Буквы петляли, изгибались, растягивались по пергаменту, словно пытались взлететь со страницы.

Чтение мое раздражало маму столь же сильно, сколь и мои проказы. Если я не сидела, уткнувшись в книгу, в библиотеке, то пряталась на чердаке или в умывальне со старой газетой и читала ее от первой до последней страницы. Обед остывал на столе, мать грозилась оставить меня без еды, если я немедленно не явлюсь. Я выбирала остаться без обеда – и действительно частенько голодала.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Канава (фарси). Здесь и далее, если не указано иное, примечания переводчика.

2

Она же Вали-Аср – самая длинная (восемнадцать километров) улица в Тегеране, пересекающая город с севера на юг.

3

Дама (фарси).

4

Пасаргады – древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов.

5

Сузы – один из древнейших городов мира, в III – I вв. до н. э. столица Элама.

6

Персеполис – древний персидский город на юго-западе Ирана, возник в VI – V вв. до н. э.

7

Автор считает годом рождения Форуг 1313-й, но точная дата ее рождения – 8 дея 1313 года солнечной хиджры, то есть 29 декабря 1934 года. В ее свидетельстве о рождении записана дата 15 дея, однако сестра Форуг при жизни просила исследователей творчества Фаррохзад указывать верную дату.

8

Реза-шах Пехлеви (1878–1944) – шах Ирана с 1925 по 1941 год.

9

Каджары – иранская династия, правившая с 1795 по 1925 год.

10

Персидская казачья бригада (с 1916 года – дивизия) – кавалерийское соединение, созданное в Персии по образцу Терского казачьего войска. Существовала с 1879 по 1920 год.

11

Мазар имама Резы – архитектурный комплекс в Мешхеде, центр туризма и паломничества в Иране.

12

Пер. О. Румера.

13

Кепи, которое военные стали носить при Резе-шахе.

14

Новый год в Иране начинается 21 марта – с праздника Ноуруз.

15

Туман (томан) – денежная единица Персии с 1825 по 1932 год.

Купить: https://tellnovel.com/darznik_dzhazmin/golos-poymannoy-pticy

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)